

Российская Академия Наук
Институт философии

ЭТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

Выпуск 2

Москва
2001

Содержание

МОРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ

А.А.Гусейнов

Закон и поступок (Аристотель, Кант, М.М.Бахтин) 3

Р.Г.Апресян

Ресентимент и историческая динамика морали 27

А.В.Прокофьев

Человеческая природа и социальная справедливость
в современном этическом аристотелианстве 41

Л.В.Максимов

О когнитивизме Канта 65

А.В.Разин

Модели нравственного поведения 74

ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОРАЛИ

Б.Н.Кашиников

Концепция общей справедливости Аристотеля:
Опыт реконструкции 89

М.А.Корзо

О полемике янсенистов и иезуитов
о благодати и свободе воли 118

О.В.Артёмьева

Концепция морали в этическом интеллектуализме
Нового времени 132

О.П.Зубец

Об аристократизме 151

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТИКИ

В.Н.Назаров

Опыт хронологии русской этики XX века:
второй период (1923–1959) 169

Е.Д.Мелешко, А.Ю.Каширин

Философия Толстовства:
Идея духовно-монистического миропонимания 192

И.А.Белая

Буддизм как теоретический источник учения
сознания жизни Л.Н.Толстого 203

А.А.Скворцов

Этические проблемы войны в русской
религиозной философии XX в. 216

О. П. Зубец

Об аристократизме

Быть — это быть всем.

Борхес

Человечеству требуется совсем немного для переоценки себя, для включения нового в некий обобществленный всеми людьми образ. Существуют явления, становящиеся всеобщим достоянием совершенно независимо и даже вопреки своей чисто внешней распространенности или доступности. Стоило одному человеку полететь в космос, как летающим в космос стало все человечество. Но если присутствие тех или иных моментов в этом общем образе окрашено чувствами гордости, ожидания, мечты или устремленности, то иные сопряжены с тоской, ностальгией и ощущением исторической и социальной невосполнимости. Именно к таким обретениям человечества можно причислить аристократизм. Речь идет о тех нормативно-ценностных отношениях, которые коренились в особом жизнеустройстве и взаимоотношениях с миром, реализованных аристократией. Не реальной, исторически конкретной аристократией, а специфическим субъектом ценностного творчества. Аристократизм выступает в этом случае первоначально как особое состояние ценностного сознания, которое при ближайшем рассмотрении оказывается его сущностной основой.

Христианская средневековая мораль была сословной, корпоративной. Так «добродетели монаха и рыцаря, ремесленника и земледельца были разными — крестьянин не обязан был жертвовать жизнью ради идеала, монах не должен был исправно платить налоги, рыцарю не надо было пахать, все же вместе — равные перед Богом — они составляли иерархическую лестницу служения Добру, соединяющую Небо и Землю»¹. Но в этой гар-

моничной иерархии нет определенного места для аристократа. Он стоит вне служения и призванности к нему. Ни служение Богу, ни королю, ни прекрасной даме не является аристократическим призванием. Аристократ не ищет места в этом ряду, то есть в социальном пространстве своего времени, т.к. он вообще существует в ином пространстве. Это пространство его рода, его истории, отгороженное от мира стеной его замка. Если рыцарь осуществляет себя в пути, на густо заселенной средневековой дороге, то аристократ существует лишь в пространстве своего замка, впитавшего историю рода.

Стена замка — это не только материальное военно-стратегическое сооружение. Это в огромной степени явление, играющее духовно-организующую роль, основа и условие определенного жизнеустройства и мировосприятия. Средневековая стена вообще является важным элементом культуры: она отделяла монастырскую жизнь от мирской суеты — два существенно различных ценностных пространства. Порой она разделяла целые культуры, как это было с Великой Китайской стеной или Стеной Адриана в Британии. Построение стены означало не просто защиту от врага, но возможность созидания, устройства жизни. Причем жизни, отличной от мира за стеной, воплощающей иные, свои ценности. Иными словами, сосуществование различных ценностных миров в средневековье было возможно благодаря пространственной отгороженности и защищенности, даваемой стеной замка или монастыря. Именно она позволяла существовать и в мире, общем для всех, и в своем, особом. Причем значимость последнего была несоизмеримо выше. Монастырь — это наилучшее место для служения Богу и приобщения к нему. А замок аристократа? Для каких жизненных и личностных задач отгорожено это возвышенное (в буквальном смысле) место?

Ограниченность пространства замка лежит в основе оформленности или чувства формы как одной из «коренных интуиций», несущей в себе удивительный по мощи и жизнеспособности этический заряд (А.Л.Доброхотов). Томас Манн называет это чувство формы аристократическим в смысле способности поднимать дух над всеми типами материально-реальной обусловленности. А.Л.Доброхотов выделяет следующие этические достоинства формы: она одновременно апеллирует к чувственности и рассудку, требует дисциплины и меры, что воплощается в стиле, ритуале, нравах, речи, жестах, ритмах жизни, безразлична к конкретному интересу субъекта, и в этом смысле вне-

сословна, т.е. может стать основой общих ценностей и кодексов. «Не случаен лейтмотив пушкинской политической мысли: аристократия должна передать народу свой этический кодекс»².

Истоки аристократического ценностного сознания обнаруживаются в гомеровском героическом обществе. Герой античности лишен способности судить со стороны, для него нет внешней точки зрения, которая принадлежала бы ему самому, а не врагу или чужаку. Его идентичность себе самому выражается в предельной конкретности всякой ответственности, которую он несет перед своей семьей или родом. Его существование обретает ценностную напряженность перед лицом судьбы и смерти, и в этом он сопряжен богам, а не другим людям. Свое развитие эта особенность ценностного сознания получила в античном аристократизме: в лице величавого и по праву гордого, также независимого от внешней оценки и почестей. Образ жизни и мироощущение вождей варварских племен стали переходными к формированию аристократизма как полного и самодостаточного бытия, бытия в замке.

Замок так же важен для аристократического мироощущения, как конь для рыцаря. В сознании вождя варваров были слиты два понятия — быть воином и быть свободным членом общества³. Конь и меч — воплощение свободы и пути, странствования. Замок — символ противостояния и неприступности, неизменности и несокрушимости. Рыцарь опускает забрало перед боем, но в странствии своем он открыт и существует в потоке бредущих по дороге: монахов, паломников, солдат, нищих, королей с целыми свитами. Отгороженный, отделенный от этого движения житель замка, с одной стороны, является отправной и конечной точкой движения, но с другой, он оторван от этого движения, противостоит этой общественно-политической, дорожной жизни.

Замок обычно строился на вершине горы и воплощал не только неприступность, но и отгороженность, отделенность, непрозрачность и, более того — возвышенность, вознесенность по отношению к окружающему пространству. Про аристократа говорили, «у него есть башня». Это возвышенное положение воплощалось не только в направленности взгляда, но и в вершинном, башенном существовании в мире ценностей. Кроме того, как писал Шатобриан, самый ничтожный владетель считал себя равным королю, «такой человек не признавал над собой никакой власти и считал себя полновластным господином, который не

обязан повиноваться кому бы то ни было. Аристократия притесняла свободу прочих людей и всегда была врагом королевской власти»⁴. Противостояние аристократии всей средневековой иерархии служения отмечает и Бердяев. Аристократия антигосударственна. Государственный абсолютизм всегда вырастал в борьбе с аристократией и ее привилегированными свободами. «Настоящая аристократия образовалась не путем накопления богатств и власти и не путем функций, исполненных для государства, а путем меча. ... Можно было бы даже сказать, что свобода аристократична, а не демократична. Подъемный мост был защитой ... свободы от общества и государства»⁵. Стена замка оказалась той границей, которую общество не хочет признать в отношении человеческой личности. Она позволила осознать личное достоинство и честь, открыть особый тип ответственности, о чем мы скажем чуть позже, т.к. трудно еще раз не процитировать Бердяева: «Аристократическая природа, как и гениальная природа (гений есть целостная природа, а не только какой-нибудь огромный дар), не есть какое-либо положение в обществе, она означает невозможность занять какое-либо положение в обществе, невозможность объективации»⁶.

Но объективация для владельца замка (и самого себя) есть существование в знаковой системе, в культуре названия и определения⁷. Имя присваивается всему: мечу, коню, Замку, комнатам и переходам замка, уголкам сада, деревьям. Называние есть акт обретения лица, индивидуальности. Но называние есть и обозначение рода, выход за рамки индивидуальности личности к индивидуальности истории. Более того, это еще и выход за пределы собственной телесности, когда пространство вне меня через имя становится частью моей личной протяженности. Личностное пространство (даже в научно-психологическом смысле этого понятия) раздвигает свои границы, включая все индивидуально поименованное. Стена замка при этом становится новой границей телесности. Умирание средневековой культуры осуществляется в том числе как разыменовывание, о чем пишет Ролан Барт: «Буржуазия уступает фактам, но непримирима в вопросе о ценностях; она подвергает свой статус настоящему *разыменованию*, и ее можно охарактеризовать, как *социальный класс, не желающий быть названным*»⁸. Жизнь внутри замка вовсе не статична, но ее движение совсем иного рода, движение путника в его служении вере, королю и даме. Аристократическое существование выражается в оживлении реального мира

идеями, в том, что Ницше называет ценностным творчеством, в превращении природы в историю. Это последнее есть своего рода языческое одухотворение, в котором природа оказывается частью личной биографии, когда название местности, холмов и лесов становится частью родового имени и сами они обретают имена в честь тех или иных биографических событий. Природа становится свидетелем и участником истории и в этом обретает собственную индивидуальность. Мир выступает как знаковый и наименованный. Точно так же, как обязательному наименованию подлежит всякая вещь, ибо она обладает индивидуальностью. Буржуазия распространяет свои представления, натурализуя их, воспринимая себя и другого в качестве Вечного Человека. Аристократ стремится наименовать себя и все вокруг, всему придать особенность, и в первую очередь знаково определить самого себя, представить себя в качестве знака, который творит новые знаки и придает осмысленность и связность миру. Каждый его поступок, действие, жест есть лишь символы его особенного ценностного существования, но это знаки особого рода, по которым нельзя судить о субъекте, т.к. только он своим существованием придает им характер знаков, иными словами, они не могут быть прочитаны никем, кроме того, кто их создал или воспроизвел. Они не являются посланиями миру вне замка, они есть лишь способ существования замковой жизни. Аристократ сохраняет себя и свои ценности в вербальной истории, и они воспринимаются иными социально-нравственными субъектами в их вербальной откровенности. Если буржуа превращает реальный мир в образ мира, Историю в Природу (Р.Барт), то аристократ превращает идею, образ в реальность, Природу в Историю.

Долгая часть человеческой истории была связана с возможностями обозначить и защитить свое пространство, свою территорию, когда мир внутри стены и вне ее порой достигал в своем различии вселенских, космических масштабов. Переход через границу означал утрату или обретение прав и обязанностей, превращение из субъекта в объект и наоборот, погружение в иной ценностный мир — превращение себя в иного или возвращение к себе. Таким был античный полис и средневековый город-крепость. Но в этих случаях выделенным оказывалось пространство социально-политической и экономической жизни, в то время как аристократический замок воплощал и реализовывал отгороженность от социально-экономического пространства, от логики странствий и ценностей служения и осуществлял своего рода поворот к индивидуальности и выделенности истории семьи.

Монастырская отгороженность возникла как форма, позволяющая воплотить в жизнь ценности аскезы, служения Богу и отрешения от мирского. Это была скрытая форма признания значимости, соблазнительности и красочности жизни за стенами монастыря. Мир находится за стенами монастыря, во всей своей неподатливости и греховности. Уход в монастырь есть отрешение, даже если ради высокого и подлинного служения и спасения души.

Стена замка отделяет не от мира, а мир от ничто, от низкого, не ценного, бесцветного, не поименованного, не существенного и не существующего. Это ничто протяженно, но для времени оно есть пустыня, равнина без значимых для взгляда точек. В монастыре человек стремится приобщиться к подлинным ценностям, существующим выше и вне него. В замке ценности существуют только в своем личностном воплощении, олицетворении. Мужество, достоинство, честь, справедливость существуют и понимаются лишь как мужество, достоинство и честь определенного человека. Своим существованием он извлекает их из тьмы предания, они значимы именно в качестве ценностей и добродетелей конкретного героя ценностной истории. Он придает им бытийственность, тогда как в монастыре человек обретает бытийственность через служение ценностям. Предшественников протестантской трудовой морали М.Вебер находит в монашеской нравственности: в обоих случаях посторонние вещи употребляются лишь для какой-то пользы, а потусторонние любимы ради них самих. Как пишет Ханна Арендт, «в обоих случаях возрастает власть над вещами мира, благодаря дистанции, пролегающей между человеком и миром, т.е. благодаря отчуждению от мира»⁹. Власть аристократа над вещами есть лишь его власть над самим собой, т.к. он сам и придает вещам мира значимость, индивидуальность и бытийственность. Не увиденное и не оцененное им просто не существует.

Аристократический ценностный мир обретает опору в определенных знаковых действиях, своеобразных спектаклях и, в то же время, практиках, воспроизводящих ценности в виде ряда зримых образов и поступков. Такими ценностными практиками являются охоты, турниры, пиры и даже «gardening» — возня с растениями карикатурного английского аристократа. Эти практики не имеют собственно утилитарного значения в явном виде. Это не просто не работа, это еще и не повседневность. Это воплощенная *праздничность* как сторона *праздности* — одной из

центральных ценностей аристократизма, за которой скрывается, с одной стороны, преемственность с образом жизни воинственных германских племен, погрузившихся в полную праздность между походами и набегами, а с другой — неограниченные возможности свободного времени личностного развития. Словами М.Бахтина, «праздничность измеряет пошлость и будничность будничности»¹⁰. Праздничность вырывает из автоматизма повседневности, делает чисто вербальную ценность зримой, реальной — воплощенной и необходимой. Это своего рода театрално-магическое действие, в котором мужество и достоинство находят выражение и признание. В сущности, герой такого действия, вокруг которого оно центрировано и чью личность оно приоткрывает и частично создает, не нуждается в особо героических свойствах. Как обнаруживает Х.Арендт, мужество не сводится обязательно или первично к готовности взять на себя последствия за сделанное: мужества требует уже решение выйти из приватного круга потаенности и показать, кто ты, собственно, есть, т.е. выставить самого себя. Но аристократическое существование во многом вообще лишено этой приватной потаенности, и выставление самого себя есть способ аристократического существования с самого детства. Потаенность и невыставленность невозможны там, где человек осуществляет то, что может быть названо инициативой. Будучи преемником древних вождей, он иницирует всю жизнь замка, что для него во многом совпадает с инициированием самого себя. «Однако сила того, кто берет на себя инициативу, поистине придающую всю крепость крепкому, дает о себе знать только в этой инициативе и во взятом тогда на себя риске, не в действительном достижении»¹¹. Величая ответственность аристократа не есть суетливая ответственность за результат, за то, что вне замкового пространства. Для него непостижимы были бы мучения ситуативного морального субъекта. Он ответственен лишь за исполненную роль и лишь за обустройство замка, т.е. самого себя. (Остатки этого обустройства сохраняются, если бы можно было так сказать — ностальгируют, в исключительной щепетильности и консервативности современной английской аристократии в отношении одежды, устройства дома и распорядка жизни¹².) Попробуем реконструировать результат и устремления этого обустройства.

Человек, отвечающий за себя, как вершину истории. Основа аристократической ответственности заложена в характере течения времени замка: это время не линейное, оно движется по спи-

рали, как бы сужающейся кверху, превращающей ныне живущего в болезненный сгусток всей предыдущей истории его рода. Именно в нем оживают родовые портреты, его глаза видят привиденческую оживленность замковых коридоров. Для жителя замка подлинная бытийственность, осмысленность, оживленность основана на вечном возвращении, бесконечном повторении одних и тех же сюжетов в исполнении все новых поколений. Родовое уродство есть подлинная красота, ибо оно не случайно. Einmal ist Keinmal — Единжды — все равно что никогда. Словами Милана Кундеры, «Чего стоит жизнь, если первая же ее репетиция есть уже сама жизнь?... набросок к ничему, начертание, так и не воплощенное в картину»¹³. Если же в твоём лице история проигрывает единственную возможную драму, многократно сыгранную на фоне тех же стен, то в этом мире вечного возвращения на всяком поступке лежит тяжесть невыносимой ответственности. Это ответственность не перед кем-то, ибо зрители этой драмы воплощены в самом актёре, породили его со всеми его уродством и красотой, благородством и низостью. Сцена окружена высокой каменной стеной и не существует взгляда со стороны, нет источника оценки, облегчающего ответственность. Король ответственен перед Богом и подданными. Житель замка ответственен перед сконцентрированной в нём историей. Он её сгусток, вершина.

Человек обещающий. Ф.Ницше определял человека как животное, смеющее обещать. Сознание силы и свободы позволяет давать слово. Но аристократическое обещание есть воплощение господства над собой: такого господства, которое признаёт достойным себя как добро, так и зло, как сдержанность, так и страсть. Суть обещания не в том, что будет совершено определенное действие, а в том, что оно будет совершено определенным человеком со всеми его возможностями и непредсказуемостями, что именно он выйдет на бой с судьбой и с внешними обстоятельствами, которые в сущности ничто. Это обещание основано на том, что замок стоит и будет стоять, что бы ни происходило в природе и человечестве.

Человек прощающий. Прощать в определенном смысле дело не человеческое. Аристократическое прощение обращено на то, что вне замка. Это прощение Ничто, ценностной пустоты в том, что она не может быть не прощена. Не прощаемое есть значимое, и прощение есть лишь акт определения границы между значимым и не значимым. Конфуций считает важным качеством

благородного мужа то, что он всегда винит себя, а не другого. Но в основе этого принятия всей ответственности на себя и изначального предпрощения другого лежит отказ другому в праве и способности быть нравственным субъектом. Вождь, полководец, создатель, тот, кто принимает решение, берет на себя и вину. Но он в то же время изначально не виновен, как не может быть виновен создатель мира в его несовершенстве. Он не осуждает творение, ибо оно тварно. Но он не осуждает и себя, т.к. он не сводим к единичному творению, а способен на создание бесконечно иных миров. Взятие ответственности есть подспудно признание своей свободы и возможности творить и доброе и злое.

Человек судящий. Когда коммуна средневекового города принимала нового жителя, то заключала с ним своего рода договор о том, что он не будет самостоятельно, индивидуально использовать силу для установления справедливости. Эта функция передается сообществу. Аристократ не передает и не может передать этой функции, т.к. по отношению к самому себе только сам человек может быть окончательным судьей и палачом. Исторически традиционно он вершит суд внутри замка, он гарантирует справедливость собственных решений лишь собственной справедливостью, достоинством своей личности, а не внешними законами. Он творит новые прецеденты или вспоминает старые, не желая надличностных обобщений в законах. Дуэль — след этой привилегии аристократов не отчуждать свое право на справедливость в пользу государства, церкви и т.п. Не случайно и не из гуманизма она вызывала такое осуждение и запрет с их стороны. Аристократ осуществляет свой суд, не выходя за границы своего ценностного мира — исходя из собственных представлений, отношений, мудрости или своеволия, а не как посредник между законом или высшей истиной и людьми.

Не торгующий человек. Товарный рынок собирает на публичной площади не личности, а производителей, и даже не *кто*, а *что*. По К.Марксу, рынок исключает из публичной сферы все личное и оттесняет собственно человеческое в частную сферу семьи, дружбы или любви. Но для аристократа публичность есть лишь форма развертывания своего личного *Я*, и в этом смысле пространство замка (не сводимое к семье) и есть сфера аристократической публичности, разворачиваемой во времени. В средневековье человек не мог быть посвящен в рыцари, если кто-то из его предков занимался торговлей. Для людей войны, завоевателей ценности и правила торговли были неприемлемы не

только духовно: эта неприемлемость была институализирована. Еще в XIX веке в Польше аристократ, согрешивший торговлей, лишался своих привилегий. То же наблюдалось и на Востоке, например в Японии. Исследователи ценностно-нормативных систем даже выделяют две основные группы ценностей — стражников и торгующих — по их явной противопоставленности друг другу не только в истории, но и в современном обществе, даже внутри индустриально-городской культуры¹⁴. В аристократизме отвержение торговли имеет явно выраженный моральный характер: важно личное неучастие в торговых отношениях, т.к. это перерождает моральный облик и совершенно несовместимо с фундаментальными аристократическими ценностями. Иное дело, если другие люди участвуют в торговле, подобно тому, как они выполняют другие работы по обеспечению повседневной жизни. Главное — личное неучастие. Оно и невозможно, т.к. выгода совершенно выпадает из системы аристократически значимого.

Человек дарующий. Заработанное не имеет подлинной значимости, т.к. является результатом внешних законов, права, рынка, договоров и т.п. Подлинной ценностью обладают лишь дары — то, что окрашено личным отношением и выбором. Но дарение для аристократа однонаправленно и осмыслено как щедрость. Дарение определяет границу между Нечто и Ничто, между возвышением замка и ценностной плоскостью вне него. *Щедрость*, осуществляемая в даре, не есть некий нормативный ориентир, которому можно соответствовать или не соответствовать. Это вообще единственно возможное отношение между всем и пустотой. Дарение не ожидает, не предполагает никакого ответа: оно подобно лучу света, уходящему и исчезающему в темноте. Щедрость — своего рода символ полноты бытия. Как нравственное явление она воплощает не отношение человека к человеку, а лишь отношение человека к самому себе.

При сравнении ценностей стражников и торговцев Джейн Джейкобс замечает, что верность в одном и честность в другом случае являются как бы ценностями от противного. Потребность в них порождена реальным стремлением нарушить соответствующие правила. Это, можно сказать, компенсаторные ценности, стоящие особняком и имеющие более идеологический, чем нравственный характер. Но аристократ, стоящий вне системы служения, воспринимает верность как верность себе и роду или замковой традиции. Это верность не внешнему, но внутреннему пространству замка. Если рыцарство есть «отрешение от самого

себя» (Майстер Экхарт), стремление стать орудием Бога, истины и справедливости, то аристократизм есть утверждение себя вопреки королю и Богу, служение воплощенной в отдельной личности истории.

Не профессиональный человек. Аристократизм отвергает профессиональную работу, — она ограничивает свободу и ведет к торговым отношениям. Собственно праздность не есть отсутствие деятельности, это лишь иная деятельность — воспроизводство личности и рода в ней и через нее. Неприятие профессионализма не входит в противоречие с рядом навыков, знаний, опыта традиционного аристократического набора. Они лишь не должны продаваться или делать человека зависимым от них каким-либо иным способом. «Работа может быть сколь угодно важной чертой человеческого обмена веществ с природой, но это не значит, что всякий человек обязан и работать; он прекрасно может заставить работать за себя других, никакого ущерба его человеческому бытию от того не случится»¹⁵. (Обращение к Х.Арендт не случайно: она исключительно ярко и глубоко теоретически воспроизводит главным образом аристократические ценности, хотя и не обозначенные традиционно.) Но человек не может включиться в мир людей и его историю без слова и поступка. Именно это *необходимое* реализуется в аристократизме: он воплощает волю, знаковость и способность поступать, т.е. инициировать жизнь. Но при этом поступок является лишь знаковым выражением человека, содержание которого придается ему именно действующим субъектом, а не извне этой системы «человек — поступок». Человек творящий становится сыном собственного произведения (даже худшие произведения намного ценнее авторов), существом тварным. Творец видит себя в своем творении ограниченным (П.Валери). И эта ограниченность становится значительнее самого автора. Аристократическое неприятие никакого профессионального созидания есть невозможность стать рабом собственного творения и самого себя, стремление остаться свободным. Поэтому аристократический поступок ничего не говорит об авторе; наоборот, автор все говорит о поступке. Важно не деяние, а тот, кто его совершает. Человек придает ценность поступку. Даже в созидании самого себя — в своей телесности, в формах замка и сада, галстука и осанки — аристократ сохраняет свою независимость и первичность: только из его рук они обретают свою аристократичность, становятся знаками. Уместно для контраста вспомнить, как настойчиво

разрабатывает Франклин систему действий, создающих в глазах окружающих образ человека, «заслуживающего кредита», т.е. стучащего молотком с раннего утра.

Известно, что в античности профессиональный труд вызывал презрение и Аристотель стыдился, что был сыном врача. В раннесредневековых «Books of Customs» если ремесленник богател и хотел стать свободным человеком, он должен был отказаться от своего ремесла и избавиться от всех инструментов в своем доме. (В дальнейшем это правило было перевернуто и человек становился горожанином в качестве члена ремесленной гильдии.) Действительно, человек может входить в сообщество людей именно в качестве человека, а не ограниченной функции своей профессии с ее частными интересами и узким взглядом. Аристократизм воспринял эту ценностную установку, отвергая узость всякого профессионализма (узость самого аристократа видна лишь буржуазному демократу, для которого человек существует как существо политическое или участник всеобщей рыночно-производственной машины). Невозможно превратить замок в специализированную мастерскую как невозможно лишить мир способности простирается в бесконечность.

Человек праздный. Возвеличивание труда — достаточно позднее изобретение человечества. И в античности, и в средневековье именно праздность воспринималась как нормальная и благая жизнь. «Если с трудом, кто смог бы сделать хорошо?», — задается вопросом Пиндар. Все слова для труда в европейских языках исконно означают муку¹⁶. У Аристотеля одна нужда заставляет побежденных работать руками. Для христианства и нищенство — вполне достойный способ поддержания жизни. В поте лица едят свой хлеб те, кто никак иначе не может помочь себе. И в монастыре труд воспринимается как форма аскезы. Труд есть наказание за грехопадение. Фома Аквинский утверждает, что «созерцательная жизнь в абсолютном смысле лучше, чем деятельная жизнь»¹⁷. В истории культуры эта мысль неоднократно принимала вид своеобразного страха нравственно чуткой личности перед жизненной активностью, чреватой злом, унижением и ущемлением другого. Таков был Дельвиг — ленивый мудрец; таким описан (или понимаем) Илья Ильич Обломов. Как и во многих других моментах, аристократизм лишь в более ярком, концентрированном и оформленном виде выразил ценностное устремление человечества.

Богатый человек вне богатства. Уже Демосфен определил внеэкономический смысл богатства: «Много рабского и низменного заставляет свободных людей делать нищета» (Оч. 57, 45). Аристократизму совершенно чужд рыцарский обет бедности, но богатство есть для него лишь почва, условие, средство поддержания образа жизни. Исторически аристократические владения были связаны с войнами, захватами, грабежами. Иной способ их появления не включен в разряд значимых и достойных (оценка даров тут весьма неоднозначна). Подобно тому, как достойно появление на пиршественном столе убитого накануне оленя, но не интересно, откуда возник на нем хлеб. Вино из собственных подвалов имеет также привкус охоты: поиска, игры, индивидуальности и риска. В любом случае, для вождя воинов богатство или бедность лишь временные состояния и не могут определять его личностные достоинства. Как раз наоборот, последние определяют способность к завоеванию, присвоению и устройению. Замок — это не конец завоевания, а начало, порождающее весь мир. Это точка, в которую упирается ножка циркуля, при том, что размер окружности не ограничен. Аристократ принимает богатство как принимает всякий человек наличие почвы под ногами и возможность ходить. Но даже если эта возможность исчезает, богатство не становится ценностью, т.к. ценностная основа великолепного выезда и чистой рубашки одинакова. Так же не существенен размер дара. Все это не вещественные реалии, а знаки одного и того же.

Золотое правило, обращенное ко времени. Предпосылкой золотого правила является равенство людей, даже если оно выступает как чистое стремление быть принятым в мире людей в качестве человека. Оно предполагает заранее содержательно не установленное отношение к Другому и наличие желания, что бы другой отнесся к тебе определенным образом, а также допущение, что второе может быть ориентиром для первого. Но аристократическое сознание не примысливает Другого в этом качестве. Смотрящий с самой высокой точки замка не может требовать такой же направленности взгляда от стоящего у его стен, творец не может ожидать от сотворенного отношения, подобного собственному. Положение вождя таково, что он может делать другим и самому себе то, что никто другой не способен и недопущен делать. Другой аристократа пребывает внутри замка, что позволяет ему быть субъектом морали в ситуации отсутствия Другого в общепринятом смысле. Этот внутренний Другой есть

совокупность знаков, поступков, оценок — всего нравственно-исторического опыта замка. В таком случае, золотое правило могло бы принять иной вид: Отнесись к будущему (т.е. поступи) так, как ты желал бы, чтобы прошлое отнеслось к тебе, или поступай так, чтобы ты стал для будущего тем, чем для тебя является твое прошлое. Поступай с другим, т.е. с самим собой, так, как бы ты хотел, чтобы с тобой поступил персонифицированный опыт рода. В сущности, любое деяние, направленное как бы на другого, в первую очередь направлено на самого деятеля, выражает его отношение к самому себе. Внешний мир не интересуется мотивом, тем более что он для него недоступен. Моральное и есть отношение человека к самому себе, устройство самого себя в пространстве собственной биографии.

Человек эстетизирующий. Исследование охотничьих первобытных племен показало, что они заняты добыванием пищи лишь три дня в неделю, а все остальное время посвящают созданию украшений из раковин, бесконечным рассказам и пересказам преданий, игре на барабанах и расписыванию окрестных скал. Аристократизм, реализующий ценности и возможности праздности, воплотил в себе это стремление эстетизировать жизнь и мир. Оно выступает в качестве оформленности бытия: значимое является в то же время и знаком, т.е. определенной содержательной формой. Даже лицо не может быть простой природной телесностью. Лицо это знак принадлежности роду и истории, своеобразный символ связи прошлого и настоящего. Чем более оно родовито-индивидуально, чем явственнее, преувеличеннее выступают на нем фамильные черты и индивидуальное своеобразие характера, тем достойнее это лицо-маска¹⁸. Не может быть значим общий стандарт красоты, если он предполагает потерю родовой индивидуальности. (Чем породистее собака, тем извращеннее, изысканнее ее формы, тем дальше уходит она от исходной природы.) Лицо-маска несет в себе символику культуры, имеет выражение. Оно обозначает, оформляет личностное достоинство. И замок имеет свое индивидуальное лицо, свои цвета и герб. Оформленность значительна и значительно то, что оформлено. Имеет свою форму течение дня, и года, и жизни. Чувство формы рождает ценность жеста и театрализует все, что имеет значение. Как пишет Й.Хейзинга «Средневековое сознание не могло выражать и воспринимать душевные движения, не прибегая к персонификации»¹⁹. Нравственные понятия становятся аллегориями, героями разыгрываемых спектаклей. Они могут

сталкиваться и спорить друг с другом, драться на турнирах. Они становятся жителями замка, участниками его мистерий. Эстетизированная моральная рефлексия ставит человека наравне с моральными понятиями и чувствами, с одной стороны, приземляя и уравнивая их, а с другой, включая человека в своеобразное отношение диалога с ними и несводимости себя к ним. Эта отстраненность от нравственных понятий своей эпохи и их приземленность, очеловеченность, лишает их потусторонности, превращает в жителей замка, героев родовой истории, в потомков духовных поисков предков, их грехов и возвышений. Такое аллегорическое моральное сознание, в котором добродетель отличается от греха цветом одежды или кожи, создает мироощущение, отличное от христианских идей греховности, спасения и божественной благодати. Человек участвует в нравственной мистерии не только наравне с ценностными понятиями и образами, но он и режиссер этой мистерии, ее художник и зритель, знающий весь ход сюжета. По коридорам замка бродят привидения — совесть рода. Совершивший злодеяние не может умереть: он не только страдает сам, но неутомимо пугает все новые поколения.

Человек «по праву гордый» (Аристотель). Позволим здесь снова обратиться к Ханне Арендт, т.к. сила ее высказывания сама по себе является аргументом. «Цельность личности, утверждаемая лишь актуализацией и артикуляцией того, что дано, даровано с рождением, держится и поддерживается тем, что мы обычно называем гордостью. Гордость опять же возможна лишь в доверии к тому, что личное *кто* превосходит по величию и значимости все что личность способна обеспечить и осуществить. «Пусть врачей, кондитеров и прислугу больших домов судят по тому, что они сделали и даже по тому, что они намеревались сделать; о самих господах судят по тому, что они есть». Гордиться сделанным тобой — до этого может опуститься только пошлость; те, кто оказывается готов настолько опуститься, становятся рабами и пленниками своих собственных способностей. Постыднее быть рабом самого себя, чем слугой кому-то другому»²⁰. Но гордость личным *кто*, не объективированным и не выявленным в произведении, поступке, возможна лишь как внутреннее состояние личности, ее самоощущение, исходное и предпосылочное для прихода личности в мир. Это не гордость перед кем-то. Это своего рода ценностный акцент, выявление первичности для ценностного сознания отношения к самому себе как смыслообразующему и оживляющему центру²¹.

Аристократизм явился своего рода вершиной ценностного движения, начатого еще в Древнем Китае и античности и оборванного в Новое Время. Именно в силу своей оборванности оно сохранило свое вершинное значение. Уже в античности осознавалась первичность деятеля по отношению к деянию (например, Периклом — у него слава не связана с общезначимыми масштабами повседневного поведения, а выражается и добрыми и злыми делами). Аристотель различает результат и отдельную от него энергию (деятельность). Аристократизм есть своего рода жизне- и ценностнопорождающая энергия, рождаемая исключительно в силу его историчности субъектом.

Еще в античности формируется и формулируется антипод аристократизма, получивший наименование мещанства. Их противостояние обнаруживается как результат некоего размежевания ценностей, их прямого противопоставления друг другу. Ценностный мир одной эпохи как бы разрывался, растягивался до максимального напряжения, когда фиксируется не просто иное, а прямо противоположное ценностное устремление. Это напоминает действие двух разнозаряженных пластин при поляризации. Такое достаточно уникальное событие не порождало особых теоретических или индивидуально-нравственных проблем в силу социальной фиксированности и ролевой определенности. Лишь в Новое время, когда социальные преграды становятся все более прозрачными, возникает ситуация ценностной неопределенности, когда мещанин обнаруживает себя во дворянстве, а стены аристократического замка превращаются в историческую достопримечательность. На смену странствующему рыцарю приходит «self-made man» — человек, создающий себя, но не в качестве себя, а в качестве успешной функции общества или ситуации, в которой он оказывается в силу рождения или жизненных катаклизмов. Это человек, который приспособливается и выживает (Робинзон Крузо), который совершает свое восхождение к социальному и материальному благополучию. Порой это человек риска, поклонник новизны, а не традиции, он открывает новые миры, не делая их своими. Но на этом пути есть статичное пространство, заводь, замкнутое, но в отличие от замка совершенно не защищенное пространство, в котором укрывается житель новой эпохи, подобно тому, как в нем укрывался незащищенный и зависимый от собственных усилий герой Гесиода и Эзопа. Не он творит мир, но сам сотворен и не защищен. Аристократическое бытие есть бытие всем, мещанское — быть ничем, т.к. ничто наименее ранимо и страдательно (Эзоп пишет об этом вполне откровенно).

Не праздность, а трудолюбие и профессионализм, не гордость, а скромность, не щедрость, а бережливость, не подаренное или завоеванное, а заработанное, не эстетизированное, а антиэстетическое (по поводу чего так переживали критики мешанства в XIX веке), не дарение, а благотворительность, благодеяние²², устремленность к богатству и т.д. — это ценностные откровения Ничто. Ничто стремится стать чем-то, опредметиться в профессии или произведении, в стоимости или в моральной идее, обрести лицо через взгляд извне («стараются внушить о себе хорошее мнение, хотя сами о себе его не имеют». — *Ницше Ф.* По ту сторону добра и зла, 261).

Осуществленное аристократизмом возвышение человека, а в сущности своего рода собирание всех ценностных обретений разных культур, в которых человек оказался способным отнестись к миру как к самому себе, а к себе, как к всеобщему, сохранилось в ценностном сознании человечества не только в силу его содержания. Ценностное сознание не создает множественности бытия: оно включает в себя все значимое. В этом смысле оно может быть только всем, в котором нет отдельного, выделенного субъекта. Последний может существовать, только слившись со всем миром значимого, создавая его как себя, как свою ценностную протяженность. Именно это глубинное основание ценностного мира воплощает аристократизм и из него вытекает его содержательная определенность.

Примечания

- 1 *Доброхотов А.Л.* Эпохи европейского нравственного самосознания // Этическая мысль. Вып. 1. М., 2000. С. 77.
- 2 Там же. С. 86
- 3 См.: *Кардини Ф.* Истоки средневекового рыцарства М., 1987. С. 188.
- 4 *Руа Ж.Ж.* История рыцарства. М., 1996. С. 27.
- 5 *Бердяев Н.А.* О рабстве и свободе человека (Опыт персоналистической философии) // *Бердяев Н.А.* Царство духа и царство кесаря. М., 1995. С. 106.
- 6 Там же. С. 108.
- 7 Это не объективация в социальных отношениях, как ее понимает Н.Бердяев, не в зоне иерархизированной публичности средневековья и не в публичности античного полиса.
- 8 *Барт Р.* Мифологии. М., 2000. С. 265.
- 9 *Арендт Х.* Vita activa, или о деятельной жизни. СПб., 2000. С. 333.
- 10 *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества М., 1979. С. 359.
- 11 *Арендт Х.* Указ. соч. С. 250.
- 12 В одной современной энциклопедии аристократия определяется не как власть лучших, а как носящие ворсистые шляпы и чистые рубашки. Впрочем, такое определение может быть развернуто во вполне философски убедительное.
- 13 *Кундера М.* Невыносимая легкость бытия. СПб., 2000. С. 12.
- 14 См.: *Jacobs J.* Systems of Survival L.: Hodder & Stoughton, 1993.
- 15 *Арендт Х.* Указ. соч. С. 229.
- 16 Там же. С. 64, сноска 40.
- 17 *Фома Аквинский.* Summa theologica 11 2, 181, 1; 2.
- 18 Лицо как знак может быть прочитано, расшифровано лишь как вторичное по отношению к личности. Известно, что одни и те же черты могут восприниматься как выражение благородного ума или преступных страстей — лишь восприятие их как принадлежащих определенной личности придает им ценностно-знаковую определенность. Так же и поступок не может быть ценностно интерпретирован вне личности его автора, но лишь из нее — что и выражает аристократизм.
- 19 *Хейзинга Й.* Осень средневековья М., 1988. С. 126.
- 20 *Арендт Х.* Указ. соч. С. 280.
- 21 Аристотель пишет: «...а для кого даже честь — пустяк, для того и все прочее ничтожно. Вот почему величавые сльвут гордецами» (EN, 1124a, 18–20). Добавим и наблюдение Шатобриана: «Феодальное правление вселяло сильную гордость в сердца людей, самый ничтожный владетель, самый мелкий землевладелец и обладатель рабов считал себя равным королю; такой человек не признавал над собой никакой власти и считал себя полновластным господином, который не обязан повиноваться кому бы то ни было» (*Руа Ж.Ж.* Указ. соч. С. 26–27).
- 22 Дарение не несет на себе печати морального деяния, подобно благотворительности, тем более, что оно вообще исключает Другого как значимого субъекта. Поэтому оно не обременено противоречиями и сомнениями, свойственными филантропии.